

И. Д. ЯКУБОВИЧ

«ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»
И «В МИРЕ ОТВЕРЖЕННЫХ» П. Ф. ЯКУБОВИЧА

В настоящее время внутрилитературные связи все чаще привлекают внимание исследователей. В недавно опубликованной статье Г. П. Бердникова «Чехов и Достоевский»¹ выясняются многообразные связи, явные и опосредствованные, творческого влияния Достоевского на Чехова. Они демонстрируются в основном на сопоставлении «Записок из Мертвого дома» и «Острова Сахалин». Интересна работа Б. Н. Двинянинова,² в которой автор пытается выявить идеино-творческие созвучия также книги Чехова с очерками революционера-народника Петра Якубовича «В мире отверженных». Однако примечательны глубинные связи «Записок из Мертвого дома» как произведения специфического жанра с наиболее типологически близкими очерками П. Ф. Якубовича. Конкретный анализ позволяет определить сферу воздействия книги Достоевского как активный процесс, приводящий к творческому и критическому использованию художественного опыта предшественника.

Очерки П. Ф. Якубовича «В мире отверженных» сразу же после их публикации в журнале «Русское богатство» в 1895—1898 гг. имели значительное количество отзывов, в большинстве которых они сопоставлялись с «Записками из Мертвого дома». Это было вызвано, конечно, общностью предмета описания — царской катоги. Критика выделяла произведение Якубовича из потока мемуарной и тюремно-каторжной литературы. Так, А. И. Богданович писал: «Г-н Мельшин (псевдоним Якубовича. — И. Я.) обладает огромным талантом, не столь глубоким, как у Достоевского, но ярким и спланным. Его „Мир отверженных“ — бесспорно художественное произведение, местами написанное с поразительной силой <...> Рисуемые им сцены, типы, картины природы отнюдь не фотографически верные изображения, а вполне художественные образы, по яркости и смелости мало в чем уступающие типам „Мертвого дома“».³

Отметив общность темы и признав талантливость произведения Якубовича, критики обычно переходили к конкретному рассмотре-

¹ Вопр. лит. 1984. № 2. С. 105—150.

² Двиняников Б. Н. А. Чехов и П. Якубович // Творчество А. П. Чехова. Ростов н/Д, 1977. Вып. 2. С. 36—45.

³ Богданович А. И. Годы перелома. СПб.. 1908. С. 60.

нию изменений в царской и, в частности, сибирской тюрьме и каторге за истекшее время. Этому в основном была посвящена статья А. Скабичевского «Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне».⁴

Главное, что роднит книги Достоевского и Якубовича, — схожесть судеб писателей. Обе они написаны на основании личного опыта авторов, опыта не сторонних наблюдателей, какими были многие писавшие о каторжном мире, начиная от С. В. Максимова с его книгой «Сибирь и каторга» и кончая Толстым и Чеховым, а опыта, выстраданного людьми, вынужденными узнать царскую каторгу изнутри, живших с нею одной жизнью, не один год. И Достоевский, и Якубович попали в каторгу после пережитого ими нравственного потрясения от смертного приговора. Это два исключительных примера, когда политические, какими были оба писателя, были помещены совместно с уголовными преступниками, уравнены с ними в их бесправии. И тот и другой находились в полной изоляции от внешнего мира, от какого-либо общения с людьми, близкими по мировоззрению. С другой стороны, хотя известно достаточно примеров произведений бывших узников, политических заключенных, писавших свои воспоминания по выходе на волю (например, воспоминания петрашевцев, народников), но книги Достоевского и Якубовича выделяются тем, что написаны они, при всей несопоставимости талантов, художниками.

П. Ф. Якубович, выступивший в печати в 1878 г., принадлежал к передовому лагерю демократической литературы и вошел в историю русской литературы как поэт революционного подполья. К моменту ареста в 1884 г. он был достаточно известным поэтом. Его стихи печатались в журналах «Дело», «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Русское богатство». Они приобрели популярность среди молодежи: «В 1880 году в студенческих кругах поэт „П. Я.“ был самым любимым и популярным поэтом <...> Мы, 18—19-летние юноши, зачитывались его стихотворениями, а многие из них знали наизусть и даже подбирали под них музыку», — вспоминал современник Якубовича.⁵ Окончив с отличием историко-филологический факультет Петербургского университета, молодой поэт связал свою жизнь с революционным народничеством и после двух лет активной подпольной деятельности был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В крепости он написал поэму «Сын» о нравственной силе и красоте мужественного революционера-народника, в это же время был издан под псевдонимом первый сборник его стихов.

Говоря об общности предпосылок появления книг, художественно отразивших каторжный мир, нельзя забывать и об еще больших различиях. Это не только сорок лет, отделяющие написание одного произведения от другого. Различными были гуманистические настроения петрашевца Достоевского и увлеченность профессионального революционера-народника, пренебрегшего «призрачным

⁴ Скабичевский А. Соч. СПб., 1903. Т. 2.

⁵ Попов И. И. П. Ф. Якубович. М., 1930. С. 10.

счастьем» ради революционной деятельности. Различными было не только мировоззрение, но и мировосприятие писателей. Достоевский и Якубович попали на каторгу, когда обоим было около тридцати лет. Но, судя по воспоминаниям современников, их характеры, натуры были прямо противоположны: мрачный, замкнутый, нервный, полный рефлексии и самоанализа Достоевский и живой, не поддающийся унынию, темпераментный Якубович. «Он не жил, он горел <...> Бледный с горящими глазами, в вечном движении, он с головой погружался в работу, писал, печатал, агитировал, и так до самого того дня, когда в цепях с обритой головой пошел в Сибирь», — вспоминала о Якубовиче писательница-современница В. И. Дмитриева.⁶ И. А. Шляпкин, учившийся в университете одновременно с Якубовичем, также характеризовал его как «первого крикунов, всегда страшно экзальтированного, злого, никогда спокойно не рассуждавшего и не дававшего рассуждать своим противникам».⁷ Как отразился специфический каторжный мир в творчестве людей столь различных, но на каком-то этапе своей жизни столь похожих своей судьбой?

Приступая к работе над книгой, в первой ее главе Якубович писал: «... страшно браться за задачу, которая однажды была уже блестательно выполнена великим художником <...> мною овладевает невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существовании „Записок из Мертвого дома“: таково очарование гения... Я долго колебался... И только мысль о том, что столько изменений произошло в этом мрачном мире со времен Достоевского, что его эпоха отделена от нас уже несколькими десятками лет, так многообразно отразившимися на всех сторонах и явлениях русской жизни, а между тем не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли в каторгу, — одна только эта мысль побудила меня взяться наконец за перо и оттолкнуть все сомнения».⁸

С первых же страниц Якубович декларирует и сознательно осуществляет связь своих очерков с «Записками из Мертвого дома». В предисловии «От издателя» он справедливо писал, что после «Записок» Достоевского существовало множество рассказов о бродягах, о каторжных и поселенцах, но связного, крупного произведения, посвященного этому «миру отверженных», объединенному общностью взгляда на него, прошедшего «сквозь призму художественного анализа и обобщения», не было (Я., I, 409—410). Вслед за Достоевским, учитывая его художественный опыт, «В мире отверженных» является жанровым сплавом: автобиографии, социального и бытового повествования, тюремных новелл-исповедей, философских размышлений — все это, как и у Достоевского, имеет фак-

⁶ Дмитриева В. И. Так было: (Путь моей жизни). М.; Л., 1930. С. 205—206.

⁷ Цит. по: Денинилов Б. Н. Меч и лира. М., 1969. С. 41.

⁸ Якубович П. Ф. В мире отверженных: Записки бывшего каторжника: В 2-х т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 23—24 (далее ссылки в тексте сокращенно: Я., том — римской цифрой, страницы — арабской).

тическую, документальную основу, но творчески обобщено, переосмыслено и развернуто в целую панораму «русского ада», как называл сибирскую каторгу и ссылку Чехов.

Возможно, что само заглавие очерков Якубовича «В мире отверженных» родилось не без влияния определения каторжников как «отверженцев» у Достоевского (4, 104, 105).

Первой главе «Мира отверженных», печатавшейся в «Русском богатстве» в 1895 г., когда автор еще находился в ссылке под надзором полиции, было предпослано рассчитанное на цензуру вступление «Вместо предисловия». Это предисловие, в котором читателю представлялся «доктор Мельшин», якобы издающий записки убийцы Д., было сколком с «Введением» Достоевского. То же убийство, совершенное из ревности, тот же замкнутый характер автора — поселенца из дворян, аналогичная скромная обстановка жизни его в маленьком сибирском городке, неожиданная смерть и записки, полученные издателем от сохранившей их квартирной хозяйки. Отвечая украинскому поэту П. А. Грабовскому на его недоумение по поводу «необходимости переодевания», Якубович писал: «Вы сами можете понять, что не от воли автора зависело обойтись без него <...> Что сделано оно, быть может, неудачно — это другой вопрос, но автор и не заботился сделать переодевание удачнее: напротив, он хотел употребить явный и избитый шаблон».⁹ В письме к А. И. Иванчину-Писареву он также говорил, что не мог обойтись «без отводящего глаза предисловия à la Достоевский» (Я., I, 16). В отдельных изданиях вступление сначала подверглось авторскому сокращению, а затем и совершенно было отброшено. В какой-то мере объясняющее наличие подобного введения у Достоевского, оно способствовало, однако, жанровому, типологическому сближению двух книг.

Композиция «Отверженных» объективно сходна с построением книги Достоевского. Это путь постепенного познания жизни каторги, не столько внешних фактов ее, сколько психологического осмысливания событий. Вслед за разделом «В преддверии», посвященным изображению этапных мытарств осужденных и не имеющим аналогий с «Записками», автор строит основной раздел книги «Шеляевский рудник» (так назвал Якубович Акатуйский рудник, где он работал в шахтах и в котором отбывали каторгу еще декабристы) по тому же плану, как и Достоевский: общий взгляд на каторгу, начальное впечатление от «погибшего народа», затем пристальный взор писателя различает в толпе оригинальные личности. Главы, как и у Достоевского, названы именами героев: «Семенов», «Шах-Ламас», «Малахов и Гончаров» (у Достоевского: «Новые знакомства. Петров», «Решительные люди. Лучка», «Исай Фомич» и т. д.).

⁹ Рус. богатство. 1912. № 5. С. 50, 56. Вспомним, что в первой части поэмы Некрасова «Несчастные» перед нами также герой — убийца из ревности, и только во второй части личность Крота дает возможность говорить о судьбе политическихсылочных на каторге.

Каторжные наблюдения Якубовича порой кажутся открытой аналогией известнейшему образцу: первые знакомства, условия жизни, состав каторги, характер преступлений. Правда жизни заставила Якубовича повторить описание многих тюремных порядков (процедура бритья головы, шельмование кандалами, майданы, виртуозность каторжной ругани и т. д.). У Достоевского в «Записках из Мертвого дома» арестанты страшились «проницательного рысего взгляда» плац-майора. Они называли его «восьмиглазым» (4, 14). Эта чрезвычайно насыщенная метафора-символ Достоевского, возможно, имеет реальный источник, связана с уже сложившейся языковой семантикой писателя. Андрей Михайлович Достоевский писал (этот отрывок не вошел в опубликованный текст его воспоминаний и цитируется по рукописи), что в пансионе Чермака «учителем немецкого языка был г-н Фурлинг <...> этот господин был крив на один глаз и носил очки <...> отчего ученики прозвали его Шестиглазым, прозвище Шестиглазого он получил оттого, что он все видел и от него ни в чем укрыться было нельзя». ¹⁰ Прозвище учителя могло врезаться в память Достоевского и оказаться художественно действенным. Судя по мемуарам П. К. Мартынова, Ш. Токаржевского, посвященным омскому острогу, плац-майора Василия Григорьевича Кривцова арестанты называли «Васька», ¹¹ «Восьмиглазым» он был только в «Записках из Мертвого дома». Штабс-капитан Лучезаров Якубович также, как говорили арестанты, отличался «поразительным глазом» и имел прозвище «Шестиглазого» (Я., I, 68—69). Якубович, разъясняя это совпадение, писал Н. К. Михайловскому: «Когда писались „Отверженные“, у меня не было под рукой „Записок из Мертвого дома“, и читал я их за десять лет перед тем. Каково же было мое изумление и досада, когда я узнал впоследствии... что, точно на грех, плац-майор Достоевского тоже носил очки и тоже был прозван „восьмиглазым“... Не всякий даже поверит, что это простая случайность, данная самой жизнью» (Я., I, 413). К переизданию книги Якубович сделал примечание: «Автору напоминали о подобном же прозвище тюремного смотрителя в „Записках“ Достоевского, но ему кажется, что эта мелкая подробность доказывает только живучесть преданий, нравов и даже острот описываемой среды, и потому он сохраняет ее, не опасаясь упреков в подражании великому художнику» (Я., I, 69).

При освещении близкого жизненного материала Якубович не мог не учитывать опыта Достоевского. Эти лежащие на поверхности связи, безусловно, должны быть учтены, но простая констатация переклички тем и образов не является показателем плодотворного усвоения традиций. Об этом свидетельствует опыт лите-

¹⁰ ИРЛИ, ф. 56, № 1, л. 187 об.

¹¹ Мартынов П. К. Дела и люди века. Из старой записной книжки, статьи и заметки. СПб., 1896. Т. 3; Tokarzewski S. Siedem lat katorgi. Warszawa, 1907.

ратурных эпигонов Достоевского.¹² И Якубович сам это понимал. В стихотворении «Ночные гости» (1892), написанном на каторге и посвященном памяти Достоевского, Якубович выразил сомнение в необходимости своего труда:

Искать луча небес на глубине паденья —
Хвалы достойный труд, но он свершен давно! ¹³

Нельзя не согласиться с утверждением Г. М. Фридлендера, что все творчество Достоевского «с самого начала было своеобразным социальным, нравственным, художественно-психологическим анализом „текущей действительности“ и ее проблем».¹⁴ Художественные открытия Достоевского на этом пути не могли не отразиться в произведении тематически близком, но принадлежащем другому историческому периоду.

Подчеркнутая откровенность первоначальной ориентации Якубовича на «Записки», так сказать, обнаженность наследственных связей, разумеется, предваряет свое собственное осмысление действительности. Сталкиваясь на каторге с одинаковыми проблемами, каждый автор определял к ним свое отношение, хотя потребность к философскому осмыслинию стихии народной жизни у Якубовича ведет, конечно, свое происхождение от Достоевского. Из всего многообразия проблем, разрешаемых автором «Мира отверженных», можно выделить основные: народное и антинародное в каторжной массе; народ и интеллигенция; социальные и психологические конфликты каторги; причины преступности; незатихающая борьба мира каторжников и мира властей; и главное, пути возрождения отверженных.

Рассказчик в «Записках из Мертвого дома» — это сам Достоевский. С первых страниц книги перед нами встает образ мыслителя, художника с острым взглядом наблюдателя, пытающегося вникнуть в самую суть жизни каторги, его размышления тоныше, умнее мыслей скромного, ординарного человека Горянчикова, представленного во «Введении» в качестве создателя «Сцен из Мертвого дома». Так же и рассказчик «Мира отверженных» — это сам Якубович. Однако Иван Николаевич Якубович — не только он сам, но и типичный образец человека революционно-народнической закалки. Писателей-народников очень привлекал тип подвижника-интеллигента, по своему мироотношению близкого к народу. Достоевский, вступив в каторжный мир, видит в людях, совершивших страшное преступление, лишь полное духовное омертвение; постепенно всматриваясь в толпу преступников, он в них «отличил

¹² См.: Щенников Г. К. Ф. М. Достоевский и литературный процесс 1870—1890 годов: (проблемы изучения) // Проблемы литературного процесса. Свердловск, 1985. С. 27—42.

¹³ Якубович П. Ф. Стихотворения. Л., 1960 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 202.

¹⁴ Фридлендер Г. М. Художественный мир Достоевского и современность // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 19.

наконец людей» (28, 172) и осознал этих людей как «самую даровитую» (4, 231) часть русского народа. Воспитанный на Достоевском герой Якубовича пришел на каторгу уверенный, что столкнется с необыкновенным русским народом: «Они все рисовались моему воображению какими-то Стеньками Разинами, людьми беззаветной удали и какого-то веселого отчаяния». Способствовали идеализации уголовной массы и народнические иллюзии автора. Каторга представлялась ему как поэтический мир, полный удали и отваги, где слышатся протяжные и грустные напевы русских песен, царят артельные нравы и обычаи, а кандалльный звон «имел в себе что-то музыкальное, властное, чарующее» (Я., I, 30). С глубоко гуманистическим чувством к этому народу вступает Иван Николаевич в острог. Мысль, что он не один, что рядом с ним живут такие же мыслящие, чувствующие и страдающие люди, утешала его, он стремился понять и полюбить своих сожителей. Достоевский задавался вопросом: как вести себя среди каторжников? И решил «держать себя как можно проще и независимее, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться», «не напрашиваться самому на полное их товарищество» (4, 76). В отличие от Достоевского Якубович стремился слиться с арестантской средой, «потонуть в ней», сделаться для нее «братьем, товарищем». Поначалу это удается ему, каторга полюбила своего «Николаича», предупредительного и услужливого, держащего себя в каторге «так же, как вел бы себя и на паркете гостиной» (Я., I, 77), образованного человека, к которому можно было обратиться за советом, за помощью в разных юридических вопросах. Полемизируя с Достоевским, утверждающим, что образованному человеку «совершенно однапаково тяжело в наших каторгах и острогах, как и всякому мужику» (4, 197) и даже тяжелее, так как он «не друг и не товарищ» остальным, Якубович пишет, что образованному человеку легче выносить лишения, так как у него «обширнее внутренний мир, богаче те сокровища, которых никто и ничто не может отнять у человека». Простонародье более нуждается «в чисто внешних впечатлениях», которые отвлекали бы его от горьких дум (Я., I, 137).

Вся книга Якубовича является ответом на глубоко волновавший писателя вопрос о причинах преступности. Выводы его сложились как итог всего пережитого. По убеждению Якубовича, «не столько природа создает преступников, сколько сами современные общества» (Я., II, 397). Он отверг идеалистические теории о врожденной склонности отдельных личностей к совершению преступлений, обвинив социальные, правовые, экономические, религиозные отношения в создании условий, приводящих к преступлению. В противовес глубокой противоречивости взглядов Достоевского на «теорию среды» Якубович делает акцент на социальных мотивах преступлений. Хотя он и пишет, что «жизнь слишком сложная вещь для того, чтобы вмещаться в узкие рамки теории» (Я., II, 399), но в основе большинства преступлений, о которых рассказывает, лежат развращающая сила жажды денег и нищета, безработица и

стремление к легкой жизни. Якубович пришел к выводу, что и на основании анализа причин преступлений в «Записках из Мертвого дома» он может документально доказать, что «добрая половина» героев Достоевского пришла в каторгу «за нарушение антигуманых законов рабовладельчества и двадцатипятилетней солдатчины» (Я., II, 395). Он писал: «Ведь все эти Сироткины, Петровы, Мартыновы, Баклушкины, Сушиловы и пр. — не кто иные, как жертвы той страшной душевной тоски, которую должны были испытывать в те мрачные времена все мало-мальски живые и энергичные сердца <...>. Тоска, вызываемая ненормальными житейскими условиями, двигала невежественных, умственно и нравственно неразвитых Петровых и Баклушкиных на путь пороков и пьянства, на безумные вспышки преступлений; но людей высшего развития, Достоевских, Белинских, Герценов не та же ли самая тоска вела на иной путь <...> налагавший, впрочем, на них клеймо такого же преступного отщепенства? Какой-нибудь Мартынов из „Мертвого дома“ пришел в каторгу за „претензию“ насчет каши в своем батальоне; но какая же, по существу, разница между ним и, например, тем же Герценом, который из-за претензий, предъявленных по поводу уже не одной только каши, а всего дореформенного строя, принужден был навсегда удалиться за пределы родины?» (Я., II, 395—396).

Большинство каторжников «В мире отверженных» принадлежало к пореформенному поколению. В отличие от Достоевского Якубович не считал обитателей каторги лучшими представителями народа. Объясняя свою точку зрения М. Горькому, он говорил: «...в „Мертвом доме“ жили, по преимуществу, крепостные мужики, „народище здоровый“, а в „Мире отверженных“ — отверженные деревни после реформы 61 года, испорченные городом».¹⁵ Якубович считал, что в каторгу попадали уже не невинные люди за протест против крепостничества и двадцатипятилетней солдатчины, а люди развращенные и извращенные, люди, не получившие «священной искры Прометея» (Я., I, 131), брошенные в водоворот буржуазного города с его соблазнами и пороками. Каторжный народ Якубовича — это «в главных своих частях <...> подонки народного моря, в отнюдь не самый народ русский» (Я., I, 288). Разумеется, это не те «подонки», «отбросы», которые заслуживают того только, чтобы их бросили и предали уничтожению. Всей своей книгой Якубович стремился показать, что и эти искалеченные, темные, порой безумные люди способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать и подниматься, жаждать света и правды. Он задавался вопросом: «Разве на дне моря нет перлов?» (Я., I, 288). И под пером возникали образы таких сильных, красивых русских людей, как Юхорев, Семенов, Шемелин, которых преображает труд, они кажутся «мифическими титанами», они не палачи, а жертвы, но все-таки вывод автора вполне определен, он звучит в заключении к «Миру отверженных»: «Пускай все эти

¹⁵ Горький М. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 30. С. 311—312.

люди из того же народа выплыли, пусть многие из них лично совсем неповинны в том, что стали такими, каковы они есть; пусть еще многие найдут в себе силы вновь возродиться и опять войти в великое народное море, — пусть так... И, однако, преступная душа все-таки не душа народа русского! Всеми силами слова я протестую против такого отождествления» (Я., II, 397).

Иван Николаевич Якубович — герой активно действующий. Выдвинув на первый план этические, воспитательные проблемы, следуя своим народовольческим принципам, писатель показывает стремление Ивана Николаевича внести «хоть крошечный луч тепла и света» в кошмар действительности, влиять на народ через обучение грамоте, чтение художественной литературы, просвещение, чтобы вырвать его «из сетей темноты и всяческой неправды» (Я., I, 146). Главы «Начало моей школы», «Мои ученики Буренковы» и особенно «Великие поэты перед судом каторги» относятся к наиболее удавшимся главам книги, они окрашены теплым чувством к людям, поражающим автора своими способностями, «охотой к учению» и даже творческими попытками (увлечение арестантов написанием воспоминаний, их поэтические опыты). Благодаря широкой гуманистической деятельности Ивана Николаевича забываешь, что все это происходит в мире убийц, да и в сознании самих каторжных тюрьма превращается в своеобразный «университет». Наибольшим успехом у арестантов пользовались Пушкин, а особенно Лермонтов и Гоголь. Чтение «Библии» и «Евангелия» вызывало мало интереса, а «Нагорная проповедь», поразившая своей красотой Алея у Достоевского, у героев «Мира отверженных» «пропала совсем бесследно». Вообще не раз отмечает автор ненависть арестантов к духовенству и равнодушие к религии, выражющееся в механическом отношении к отправлению религиозных обрядов: каторжный, пишет он, «богородицу смешивает с пресвятой троицей, Христа с Николаем-угодником» (Я., I, 131).

Свою систему гуманитарного влияния на нравственность преступников Якубович противопоставляет официальной системе перевоспитания — телесным наказаниям,¹⁶ всей системе каторжного режима, которые лишь окончательно развращают попавших в острог людей. И если он писал, что в образе Крота из «Несчастных» Некрасова нет ничего общего с Достоевским,¹⁷ то в главе «Кошмары» автор отождествляет себя с ним, а рядом с собой видит таких же восторженных мечтателей, говорящих с народом с такой пророческой силой, что она проникает в «задубельые сердца», они «размягчаются, злые, темные глаза светлеют, а гневно сжатые кулаки разжимаются и протягиваются для братского пожатия наших рук» (Я., II, 262). Но эта народовольческая утопия терпит

¹⁶ П. Ф. Якубович непримиримо относился к вопросу о телесных наказаниях, не раз в печати выступал с требованием их отмены, а применение их казалось ему «неизмеримо страшнее смерти» (Мельшин Л. [Якубович П. Ф.]. Вместо Шлиссельбурга. СПб., 1906. С. 5).

¹⁷ Мельшин Л. [Якубович П. Ф.] Н. А. Некрасов: Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1907. С. 39.

крах в яркой вспышке классовой ненависти (глава «Демоны зла и разрушения»). Арестанты строят «дикие, невозможные кровавые проекты социального переустройства», начиная от резни «железных носов» до предложения оставить их на свете одних: «...пущай бы попробовали тогда сами пропитаться!», — восклицают они, как бы следя за Салтыковым-Щедриным. Якубович приходит к выводу, перекликающемуся с выводом Достоевского: он видит пропасть между стихийной силой народа, «могучего», но «слепого», и «жалкой зрячей» интеллигенцией, «пылающей горячей любовью к народу, мечтающей о вселенском братстве и счастье», но имеющей «такие слабые руки, такую ничтожную волю для осуществления высокого идеала!» (Я., I, 254).

Глубокая убежденность Якубовича в преобладании светлых сторон в человеческой натуре, вера его, что даже в безнадежно «отщетых» можно возродить здоровую, трудовую основу народного характера, дала возможность ему создать целую галерею живых образов, лиц, озаряющихся улыбками, пленяющих своим неунывающим чувством народного юмора, прирожденного ума и добродушия. Якубовичем была остро поставлена проблема чистоты, целомудренности и трогательности отношения к женщине; им созданы глубоко психологически разработанные образы страдающих и прекрасных женщин — Насти Буренковой, Енталае, Елены, Анны Аркадьевны. Якубовича волнуют и судьбы детей каторжников, которые следуют в партиях за своими отцами. Трогательный и сильный рассказ о семье еврея Боруховича «Кобылка в пути», где автор отступил от формы мемуарного повествования, пользовался особым успехом у читателей и многократно издавался отдельным изданием.

Элегическими настроениями проникнута заключительная глава первого тома «В мире отверженных» — «Ночь». Острее чувство одиночества, охватившее Якубовича («Неужели я один живой среди мертвых? ... Мне нет здесь товарищей, как бы ни жалел я этих бедных людей, как бы ни хотел перелить в них часть своего духа ... Как устал я хранить вид равнодушного философа» — Я., I, 405), приводит его к мрачным мыслям о тяжелых тучах безвременья. Обостренно чувствуя свою оторванность «от всего, чем живет образованный мир», Якубович размышляет о судьбах мира, о новых «жгучих вопросах», вставших перед литературой, поэзией, искусством. Этот лирический порыв близок поэтическим образам Якубовича того же времени (стихи 1892—1893 гг. «Ночные гости», «Облако», «Потомство узнает, потомство услышит», «Кузнецы» и др.), и заключается он оптимистической нотой: «Туда, туда бы скорее, разделить все восторги, все труды и заботы моих братьев, стать в ряды простых, скромных работников и, если нужно, погибнуть с ними за дело прогресса и благо народа!» (Я., I, 406).

В пределах цензурных возможностей второй том «В мире отверженных», наряду с продолжающимся описанием быта уголовных, посвящен жизни в каторге политических заключенных. В письме к Н. К. Михайловскому, выражавшему сомнения в необ-

ходимости этих глав, лишь косвенно относящихся к специальным чертам «мира отверженных», Якубович писал: «Мне хотелось бы <...> изобразить возможно полно и всесторонне страдания и муки мира отверженных, понимая под этим последним словом не одних только уголовных преступников <...> Я должен был хоть отчасти <...> приподнять завесу и с их душевного мира <...> если такая попытка прозвучит несколько резким диссонансом на общем фоне очерков, то от этого они нимало не проиграют» (Я., II, 409).

В образах «восторженных мечтателей» Штейнгара и Башурова Якубович раскрыл свое представление о типе «положительного прекрасного человека» с его идеалом добра и красоты, воплощенного в стремлении «перестраивать жизнь человечества, решать судьбы мира <...> идти на великий подвиг служения народу» (Я., II, 35).

Острая полемика, вызванная очерками «В мире отверженных» среди криминалистов, заставила Якубовича неоднократно выступать в «Русском богатстве» в защиту своих взглядов. В особенности возмущали его выезды врача-психиатра П. И. Ковалевской о «прирожденных преступниках»,¹⁸ основанные на примерах из «Записок» Достоевского и «В мире отверженных». В главе «От автора» (*Postscriptum*), появившейся во втором отдельном издании книги, Якубович защитил от искащения как свои, так и взгляды Достоевского, еще раз подтвердив свое попимание «Записок из Мертвого дома».

Многообразны пути, по которым шло усвоение опыта Достоевского, один из них — утверждение жизнеспособности жанра, основанного на внутреннем восприятии реальности факта, включенного в систему философских, этических взглядов писателя. Очерки «В мире отверженных» утвердили типологически вслед за Достоевским новый многоплановый жанр в прозе. Разделяя подобный взгляд, можно говорить о преемственности книг Достоевского и Якубовича.

¹⁸ Ковалевский П. П. Психология преступника по русской литературе о катарге. СПб., 1900. С. 111.